

Владимир Наумец

Сколько цветов у боли

Дина Михайловна Фрумина

...пятьдесят девятый год... я на первом курсе... мне четырнадцать... и уже тогда... я знал... что мне повезло... я у Дины Михайловны Фруминой... она была особенная... среди всех... иной... атмосфера... которая окружала ее... вибрации... всё притягивало... элегантный вид... спокойствие... она жила искусством... училищем... учила нас видению мира... его нюансов... оттенков...

– ...посмотрите... вот лимон у Веронезе... желтого почти нет... а он желтый и кислый... до ощущения во рту... а вы давите на палитру весь стронций и кадмий... а лимона нет... все зависит от окружения... а не толщины красочного слоя... все взаимосвязано... как в жизни...

...тончайший колорит... она лепила свою живопись мазками... мелкими, но точными нюансами... как и свою жизнь...

...всегда безупречно одета (классика – юбка – блузка – брошка)... всегда тщательно причесана... чистое лицо... ни пятнышка родинки... ни морщинки... точеный носик... мраморный лоб... никакой подкраски... губы – глаза – маникюр – это исключено... небольшая... точеная из мрамора фигурка... с легкими... точеными движениями... никаких резких движений... повышенного голоса... но глаза... они жили другой жизнью... более глубокой... в них было страдание... скорбь... личная драма... или трагедия народа... сталинский режим... война... пафос соцреализма... как выжить?.. и кому нужны колористические нюансы?..

– если взять капут-мартуум... смешать с кобальтом зеленым светлым... и с белилами цинковыми... получают перламутровые оттенки серого... тут все зависит от пропорций...

...запомнил я... одну из ее формул... и только теперь понимаю... что жизнь тогда была – капут-мортuum... и прорываться сквозь нее... через светлый зеленый кобальт... к белому...

...сильный волевой стержень... в хрупкой миниатюрной женщине... как крепкая продуманная композиция каждого ее холста... конструкция, на которой... дышит... вибрирует... переливается воздух... во всех своих оттенках...

...из этого состоялся ее ученик Лев Межберг... тонкий колорист... весь из вибраций серого... и ранний Сычев... его «натюр-морт с грибами»... когда грибы пахнут... смотришь на короткие серые мазки... а слышишь запах грибов...

...вся Дина Михайловна – изысканный оттенок цвета... нежный его тон... вибрация сгущенного воздуха... на четкой внутренней конструкции... на ясном понимании своей задачи... судьбы... миссии...

...вероятно, вся внутренняя конструкция ее была... по всем правилам золотого сечения... и эту гармоничность ее... интуитивно... чувствовали все...

...она учила не живописи – композиции – рисунку... а гармонии мира... настраивала глаз наш... на правильное видение его...

...яркий одесский солнечный день... лето... я в темных очках... иду по Пушкинской... навстречу Дина Михайловна:

– как?... вы в очках?... снимите сейчас же... художник не должен носить темные очки... они искажают мир...

...вскоре на нашем курсе... появился худой парень... умные глаза сквозь стекла очков... Саша Шевченко – сын Дины Михайловны... весь в своем мире... в книгах... страшно начитан... и неуклюж в этом мире... никаким обучением не поддавался...

...урок военного дела... все маршируют в ногу – «раз-два, раз-два»... а Саша... идет себе... своей неспешной походкой... немного сутулясь... думает о своем... и ничего с ним не сделаешь... не для войны он... не для военного дела...

...ночами Саша гулял... по пустому городу... по своим маршрутам: «иду по Сабанееву мосту, а внизу... река течет... как Сена... как в Париже...»

...чтобы вытащить его... в филармонию... на Гайдна... или Шуберта... Дина Михайловна покупала билеты... отдавала их мне... чтоб я пригласил... тогда Саша пойдет...

...я уехал в Москву... учиться дальше... как-то написал Саше... эксперимент... сюрреалистический текст... ни о чем... и обо всем... Саша ответил... потом еще... и еще... исписывал листки крошечным почерком... с рисуночками идей... письма-отчеты... письма-состояния...

«...зима в Одессе красива – как почти всегда... (хотя и по-одесскому красива) и весьма акварельна. Дина Михайловна даже очень страдает, что не может как-то полно выразить это в своем даре. Написала небольшой натюрморт: вареный рак и керамическая узорная кружка – цвета рыбьей чешуи – на очень простой деревянной поверхности – такой серо-желто-розовато-жемчужной доске – скамеечке для ног. Очень интересно. Вообще – все получилось в гамме жемчужного сияния. Благодаря свету из окна. Хотя я себе представлял такую натурную тематику – в более классически-рембрандтовских тонах – однако это достаточно хорошо и (очень) красиво по-своему – в духе, может быть, близком Сезанну – несколько, – но хорошо...»

...потом Саша стал приезжать в Москву... останавливался у меня... спал на раскладушке... не раздеваясь... обмотав воротник рубашки носовым платком... на пальцы... на длинные холеные ногти... натягивал черную кожаную перчатку... и говорил, что он Воланд...

...как-то я был в Одессе... зашел к Дине Михайловне... Саша радостно приветствовал меня... убежал в ванную... долго мылся... часа через два он вышел... розовый, чистый... я уже уходил... стоял на пороге... прощался... Дина М. (ему): «что же ты?.. ведь Володя пришел...» Саша: «...да... знаю... поэтому хотел более тщательно вымыться к его приходу...» больше мы не виделись...

...на курсе Дины Михайловны я начал... с рисунка табуретки... и закончил... женской обнаженкой... маслом...

...постановка натюрмортов... это таинство... Д. М. им владела в совершенстве... все в коридоре... томятся... в ожидании незабы-

ваемого переживания... что сейчас будет?.. какой шедевр их ожидает?.. и что они из него сделают?..

...рождение постановки... Д. М. одна... мастерская пуста... только мольберты ждут... происходит волшебство... колдовство... как упадет складка... под каким углом должна лежать скрипка... на какой странице развернута книга... куда откатился лимон?.. его отражение должно упасть в стекло вазы...

...и вот... все входят... замирают... полная тишина... и бросаются к мольбертам... толкают... работают локтями... каждый ищет лучшую точку... с которой всё... сразу... и наилучшим образом... и – находит... каждый свою... особенную...

...так и жизнь – входим – замираем... потом работаем локтями... ищем свою точку... особенную... только постановку делаем сами... каждый свою...

...думаю... Дина Михайловна выстроила прекрасную «постановку»... своей жизни... внешне скромную... спокойную... а внутренне – чрезвычайно насыщенную... принцип жемчужины... в скромных створках раковины... вот только... кто это увидит?.. кому дано... кому раковина раскроется...

Сычик

– Сейчас произойдет нечто ужасающее. Ка-та-стро-фи-ческое! – с такой «приправой» Сычик протягивает мне стопку чего-то крепкого в подвале «У Зоси». – За мой счет.

Выпив, он прочно устанавливал локти на стойку бара, напрягал тело и останавливал взгляд. Начинал ждать. Нечто ужасающего. После ряда стопок напряжение спадало, волосы метались по плечам, и он смотрел уже в разные точки.

– Сейчас время кукол и кукловодов. Вот мы решили выпить. Договорились, кто кукла, а кто кукловод. Кукла имеет право пить безгранично. Кукловод – нет. Он обязан доставить куклу домой.

Нечто от скифской каменной бабы было в обличье Сыча. Такие стояли у стен археологического музея. Каменные бабы с каменными усами.

В пятидесятые годы (и шестидесятые) все стены художественного училища, начиная с уборной, украшались изображением Сыча. Он тогда ходил в гениях (как и Кока, и Мока). Тренировались все. Сначала рисуешь широкий овал, потом бровки домиком, усы домиком. Всё. Если нашел соотношение скупых линий, – попал. Похоже.

Героем знаменитых световых газет училища всегда был Сыч. Еще Помелов («двухступенчатый нос») под хриплые звуки магнитофонной ленты проектировал рисунки на большой экран. Весь актёрский зал узнавал и смеялся.

Дина Михайловна Фрумина показала мне как-то «натюр-морт с грибами» Сычика. Мерцающий, писанный мелким мазком неуловимых оттенков, окутанный перламутровым воздухом, он издавал явный грибной дух. Я чувствовал ноздрями запах прелых листьев и влажных грибов. И все это богатство оттенков он вытаскивал из примитивных цветов масляных красок. Я видел пример маленького чуда.

Поздний переход Сычика на оранжево-красные тона для меня остался тайной. Это уже был перелом внутри его сознания. В какой-то момент что-то сорвалось, надломилось и увело в сторону.

Увидев на квартире у Асриева (в конце 70-х) холст Сыча с собакой, погруженной в темноту, я воспринял его автопортретом того времени, когда произойдет «нечто ужасающее». Драма-трагедия. Это была не просто собака.

Как в работе Брейгеля «Обезьяны сидят». Там жизнь, там философия. И тогда вся асриевская коллекция показалась мне картинками «Раскрась сам».

Только эта собака была что-то настоящее, крик, комок боли, вся судьба художника. Чувствовалась музыка, а не запах. Что-то тяжелое ворочалось в крупном теле Сычика, переворачивалось, ломалось. Нескончаемые потоки слов обрывались глубоким молчанием.

Художник Валентин Ушачёв вспоминает:

«Был мой день рождения. Пришли человек двадцать. Маринок, Эдик Павлов, Гаусбранд, Слава Божий, Ануфриев, Стрельников, Асриев с двумя американками. Дом большой, с садом. В подвале бочки с вином.

Все стали уезжать. Последним Сычик. В кондиции.
Мать говорит: «Славик, оставайся здесь, переночуй».
Славик ей: «Мамаша, ежели вы желаете знать, то все, кто здесь был, – ужасающее барахло, а сын ваш – первейшее барахло!».

И ушел. Ночь. Февраль.

Часов в шесть утра приходит.

Волосы смерзлись, стучит зубами: «Миленький, роненький, – полстакана водки».

И спать. Как раз тогда шел фильм «Белое солнце пустыни».

«Ну что, пойдём?» Пошли. Всё.

Самая ходовая фраза того Сычика – «Удивительно-непонятно-ужасающее явление»...».

Гаусбранд оформлял библиотеку, рисовал сказки. Много было героев, но Сычик настаивал: «Ну нарисуй горемыку туда, прошу, нарисуй горемыку», – пока Гаус не психанул и не нарисовал...

«Ну что, ребятишки, по рюмашечке? Шуня, ну не может быть такого, чтобы у тебя в загорелке не было бутылки вина». И действительно, Шуревич тут же ее находил.

Ушачев вспоминал:

«Захожу в бар «Красный». Все красавцы стоят, Сычика выталкивают из бара, он готов.

Бармен Юра (кореец Ли):

– Славик, пора домой!

Все ко мне – доведи домой. Довести нельзя, нужна машина.

– Ах, вы пили-пили, а я должен везти.

Достали бутылку. Выпили по чарке. Такси. Сычик сел спереди. Лохмы опустил на колени. Поехали. Около моста сели две женщины. Продолжают разговор. Судя по всему, преподаватели истории. Одна из них была во Франции, поделилась со студентами. Удивило их полное равнодушие.

Кому это надо – Кай Юлий Цезарь, Верцингеторикс? Ну кому они сейчас нужны?

Вдруг Славик отрывает голову с колен:

– А чего вы думаете, ежели желаете знать, то Верцингеторикс под галльскими знаменами объединил племена, пленил и казнил... и благодарнейшие потомки воздвигли ему монумент, который с такого-то года стоит в таком-то месте.

Женщины обалдели:

– А вы кто, историк?

– Никак нет, но историю должны знать.

И отрубился».

В 80-х годах в Союзе художников состоялась выставка – Сычев, Шопин, Дульфан и другие.

На урок к Оресту Слешинскому пришли студенты:

– Были на выставке, вот видите, как они себе позволяют, Сычев, например...

Орест промолчал. Пошел в музей училища, взял несколько работ Сычика и показал.

– Если вы так сможете сделать, на таком уровне, – тогда делайте что хотите...

Ваган

– Слушай, брат, – я ел краски... Хотели взять в армию... Говорят – не надо есть краски. Стал есть кисти.

– Перестань, здесь все свои.

И повезли в дурдом на трех машинах. Краски, холсты, рулоны. Там свобода. Писал днем и ночью. Потом выгоняли в дверь. Я в окно. И за краски.

– Это первый, кого не выгонишь из дурдома, – явно сумасшедший, – говорили врачи.

Так мне рассказывал «председатель союза художников Городского сада» Ваган...

Напряжение его холстов в гармонии восторга жизнью и ужасом перед ней. Боль. Но не отчаяние.

А боль счастья. Каждый мазок, каждый цвет – это оттенок боли! Крик глубинный. Вековой.

Каждая работа с глубокими корнями. Драгоценная виноградная лоза. На каменистой почве. На горе. Холст-крик. Внутренний. Без звука. Глубокая религиозная живопись художника-бродяги. Знающего и изучившего сверхвзлеты в падениях.

Искусствовед (перед «Распятием» Вагана):

– Как реализовалась работа, что вы думали при этом?

Ваган:

– Забил два косяка, имел восемь женщин и думаю – Господи, прости...

Что-то наивно-детское сквозило в его глазах, темных с матовым блеском тайных глубин. Сквозь них шла нить многих и многих жизней, таких же ярких и насыщенных.

В начале 80-х в Пале-Рояле жужжал рой художников, и все они жалили своей индивидуальностью и самобытностью.

Но центром улья был Ваган – весь в цветных тряпках, бусы на шее и полная свобода в словах и действиях.

Он возлежал на траве в окружении банок с красками, цветных бумаг.

Мы с Ириш приблизились, и он взметнулся: «Привет, брат... Я сделаю ее портрет».

В три минуты было изображено лицо в цветах и лентах... «Что за чушь?» – подумал я.

Потом были наезды на Москву с яркой толпой учеников в поисках свободы. Гуру вывозил своих птенцов в столицу.

Пахло травой. Вихрем появлялся у меня на Солянке, звал куда-то.

Но все это было похоже на попытку самоубийства отверженного. Он шел всегда по краю.

Миллиметр – и конец. Пропась.

Он смотрел прямо в глаза и задавал прямые вопросы. Так же и отвечал. Все это перешло в холсты. В цвет боли.

Я пришел в шок от увиденного в его эркере-мастерской через двадцать четыре года. Пласты жизни висели на стенах, лежали на полу.

Как, каким образом он сумел пропустить все через себя и выдать с таким зарядом, такой энергетикой, какая и не снилась ни армянским художникам последнего поколения, ни одесским с их «курортным андеграундом»?

Сколько же надо пережить, перечувствовать, быть на краю, чтобы так это написать...

Со временем от болезни глаза его, гипнотически притягивающие – один сплошной зрачок, – затягивало туманом, как черный виноград затягивается пылью, и он обесцвечивается, и взгляд уходит внутрь.

Я почувствовал укол, импульс – надо писать его портрет. За две-три недели до смерти. Пусть он будет ужасающим, уродливым криком боли, но за ней стоит чувство исполненного долга.

Поэтому Ваган уходил спокойно, мужественно. С юмором.

Просил, и я привозил шведский табак, пропущенный сквозь виски. И мы набивали трубки...

– Бери, брат, любой чистый холст, любую краску. Бери всё.

И я писал у него, стоя на одной ноге, портрет богатого заказчика.

Ваган немогающими глазами посмотрел на меня, потом на портрет:

– Каждое говно хочет, чтоб из него сделали конфетку. Такой крыса...

Стоя на одной ноге среди всякого навала перед лежащим Ваганом, я пытался сделать его портрет... Последняя возможность... Смерть уже вселилась в его глаза. Тоска, боль, и... спокойствие в них. Ни одного резкого движения.

– Брат, сейчас матушка кофе сделает. Бери холст, вон кисти.

Входит матушка – юная женщина кареглазая, каштановолосая, и с милой улыбкой ставит кофе, и Ваган с нежностью смотрит на нее.

Очень редко это можно было увидеть в Вагане. Его жизнь была крутой, и он был ей под стать.

Я стоял не один
Я обнял свою боль
с улыбкой друга
встретившего
выстрел...

На портрете глаза – пуля в упор, вечный неслышный крик, боль за все поколение.

Я попросил – и Ваган написал свое имя, вернее, процарапал в грунте. Какие-то кружева. Я мазнул по нему густой краской, и капля потекла по лбу.

Но под нужным углом света его имя можно прочесть... По-армянски...

Кельн